

Рек. - 1995 - 15 сент. - с 14.

ПУБЛИКАЦИИ

# Аскольдова могила

Нонна МОРДЮКОВА

Однажды сидим в кустах, ждем какого-то неведомого дядьку. Кругом немцы, оккупация, голод проклятый замучил. Мама наказывает съездить к сестре, тете Паше, и выпросить «кабак» (тыкву) и кукурузу.

— Ближе к ночи он подъедет, — напутствует мама семилетнюю сестру. — Мотоцикла не бойся. Сядешь сзади верхом и ухватишься за его одежду... А там семь километров — и все. Тут тебе и Широчанка.

Я подростком была, хотела ехать вместо маленькой сестры, но мама — ни Боже мой! Наконец видим, мужик переступает ногами, а между ними мотоцикл. Подрулил, занес правую ногу назад и прислоняет мотоцикл к стене. Поворковали с мамой, циркнул спичкой, закурил, потом снова занес ногу за мотоцикл и пригласил сестру сесть сзади.

— Держись за карманы, — посоветовал мужчина.

Сестра села, и он опять пошел ногами по траве. Прошел метров сто, мотор крикнул, затарахтел, и маленькая ручка сестры растаяла в темноте вместе с брезентовой спинной сидека.

Основным подручным была я. Кряхтела, пробиралась, доставала, таскала. Как немцы ушли — легче не стало.

— Бери что попало. Тут разберемся. Прячься, чтоб не поймали...

Законы были безбожные: оставшееся зерно после уборного урожая брать нельзя. Пусть лучше на поле померзнет и сгниет. Немцы так не требовали, а наши... Многодетные семьи не выдерживали — есть хотелось с утра и до ночи, поэтому посылали детей красть рассыпанное в поле добро. Обездлички, как и все люди, получившие власть, вскакивали на коней — и «Аля-улю! Бей, кро-

ши...» Неудержимой была страсть гонять, отбирать оклунки с зерном и напоследок хлестнуть батоном поперек спины. Выпивший и стреленный мог. И стреляли. Убили школьника, вся станица хоронила, и вся станица плакала. Мама была молодым коммунистом, и не дай Бог, чтоб поймали ее детей. Могут исключить из партии. Эти слова «исключили из партии» до сих пор помню, как что-то самое страшное в жизни человека.

Сидим с подружкой в лесополосе, трусим, ждем, когда обездличик минует нас. Ей-то хорошо — у нее родители не коммунисты... Зато отмучаемся, принесем каждый в свою семью подкрепление. Вечером пируем: олады, мамины рассказы всякие. Наедемся, и на утро останемся. Утром мама уже в поле, а мы глаза продерем, и кто первый — одним прыжком к комоду. Там в верхнем ящике олады. Расхватаем, и опять думать надо, как еду доставать. Не помнили, когда последний раз выдавали что-нибудь на трудовую... Однажды родители почта сообщила нам о том, что за рекой Уруп учительница по литературе приберегла яблоки. Отправилась, яблоки взяла, несу за спиной, боюсь: что несеешь да куда?... Откуда ни возьмись, «рама» пожаловала. Низко надо мной сделала круг, немецкие летчики рукой помачали... Стоило им стрелнуть и — конец.

Добралась до дому — герой! Радость принесла. Накинулись все. Горят огнем яблоки красные, желтые. Всю хату украсили. А запах! Запах обнадеживал на лучшую жизнь, но она все никак не улучшалась.

...По окончании института жили сперва в бараке, потом комнату дали в коммуналке — в четырехкомнатную квартиру вселились четыре счастливые семьи. Радовались и мы, хоть нам и досталась проходная

комната. Десять лет через нас ходила чужая семья. По условиям пожарных перегородку ставить было нельзя. Висел на шпагате фанерный лист. Четыре семьи, четыре метра кухня, и четыре конфорки на газовой плите. Не дотянуться, бывало, хозяйке ложкой до своей кастрюли. Маленький сын из-под фанеры выглядывает и зовет: «Ма-а-ма!» Сладкий был этот голосок, самый главный и самый дорогой. «Иду, иду!» — отвечаю.

Материально было тяжело. Крутились. Перед получкой аж пот проберет от бедности по этажам с надеждой занять денег. Бывало, заплачу и взмолюсь молодому неприспособленному мужу: ну сделай хоть что-нибудь, хоть какие-нибудь меры прими! Но он не знал, что делать. Все

— Ма-а-ам!

Высовываюсь в форточку: стоит моя радость, улыбается, ямочка на щеке. Сбавив громкость, спрашиваю:

— Ты меня любишь?

— А как же, сынок? — счастливая отвечаю. Он, довольный, уходит.

Конечно, счастливая. Любимее нет никого на свете. Теплый бальзам грел душу: ел ли он, рассказывал ли что-нибудь. Бывало, обидится на кого-то, заплачет, еще слезы висят на щеках, а он торопится поделиться. Вскликая, переходит на радостный лад:

— Мам! У нас в школе медицинский осмотр был. У одной девочки швы в голове нашли.

— Швы?

— Да. Ее маму вызвали, чтоб вывели ей.

полуслова понимали друг друга, на одной волне были, как говорится. У нас были наши «коды», жесты, мимика. Помню, пришла в гости к соседям маленькая девочка Лиза. Ничего особенного. Толстая, кокетливая. Вбегает мой сын, рывком берет мою ладонь и тащит на кухню.

— Мама! Не говори, что мне восемь лет... Я ей сказал, что мне девять.

— Почему?

— Потому что ей девять.

Все хорошо, все хорошо... Уютно, радостно — ребенок рядом, на репетициях в театре хвалят.

Вдруг влетает мое дитя и радостно сообщает:

— Мама! Буду деньги тебе зарабатывать! После уроков почту разносить по квартирам. Весь класс будет конверты разносить.

В бесчисленных интервью народной артистки Нонны Мордюковой были попытки раскрыть тайну ее природного таланта и своеобразия. Разговор с ней был интересен читателю, поскольку рядом с рассказом о творческом процессе стояла жизнь и судьба незаурядного человека. В ее словах слышалась прямота и откровенность... Но не обо всем можно спросить и не обо всем сказать, глядя в глаза незнакомого интервьюера. Потребность в полном рассказе, без купюр, наедине с собой или листом бумаги, возникла. И Нонна Мордюкова взялась за перо сама. Написанное оказалось не дневником, не исповедью, а хорошей мемуарной прозой. Свои записи Мордюкова принесла в журнал «Октябрь», где они были сразу же опубликованы (№ 7, 1988). Спустя пять лет появилось продолжение, и сейчас готовится к печати следующая часть. (Следите за номерами «Октября» в будущем году). По тому отрывку, который мы предлагаем, читатель может судить о степени искренности и писательском даровании актрисы.

укорял: родила без моего согласия, теперь вертись. Однажды в отчаянии сунула руку в карман его пиджака, а там в паспорте десятка притаилась. Не почувствовал моих слезам...

Подросток сын, стал во двор выбегать с клюшкой. Двор хороший, безопасный. Убираюсь, вожусь. Слышу голос с заднего двора:

— А... так это вши...

— Нет, мама, швы.

— Ничего, это просто вывески.

Отец хоть и стал любить его, но он все льнул ко мне. Мой сын. Как расхохочемся с ним за столом или перед сном — удержу нету!

— Замолчите!

Куда там! С полувзгляда, с

В меня будто выстрелили... Смотрю на него, дух перевести не могу. Нёбо пересохло, колени ослабли... Мы впились глазами друг в друга, как током произнесенные. Вижу, как его радость сменялась испугом, изумлением. Мне слышалось не «почта и конверты», а сообщение о сожжении мальчиков на костре.

— Почту? Какую почту? Ни в коем случае! — Села на стул и закрыла лицо руками.

Как я тогда посмела не подержать его! Я, такая артельная, работающая, вдруг испугалась, воспротивилась, запретила. Невпопад запретила. Пресекать то, что надо было поощрять. Не сосредоточилась, не потрудились разобраться. Перед сном гладила его спину — слава Богу, не дала, не пустила: «Спи, детка, проживем и без почты...»

Потекла жизнь дальше. Моя опека крепчала: сынок сыт, обут, одет. «Ты моя, я твой» — излюбленный девиз сына. С детства и навсегда.

С годами и «тыльную» часть жизни каждого знали. Моя битва за жизнь, за искусство, его две женитьбы и пробы стать актером не лишили нас неразрывного сосуществования.

Теперь вот непространно является личико второклассника, все слышу его известие о почте. Как укор, как удар в сердце.

Сажу как-то у телевизора и смотрю рассказ матери Василии Шукшиной. Крепкое русское лицо пожилой женщины безучастно. Монотонно, едва шевеля губами, она вспоминает лютые го-

ре и тяжелую жизнь, разговор с Васей, еще мальчиком. «Нарядили его водовозом. Хлеб не на что было покупать. Вся семья надрывалась от зари до зари, но денег не хватало... «Бочка высоко, сынок...» — «Мам, как дырку достать?» — «На колесо, Васенька, станешь... Ох, ведро тяжелое!» — «Ничего, мам, я буду набирать по полведерка». — «Правильно, сынок...» Жаль было его. Худой, маленький, десятилетний годок пошел... Не на смерть же, думаю...»

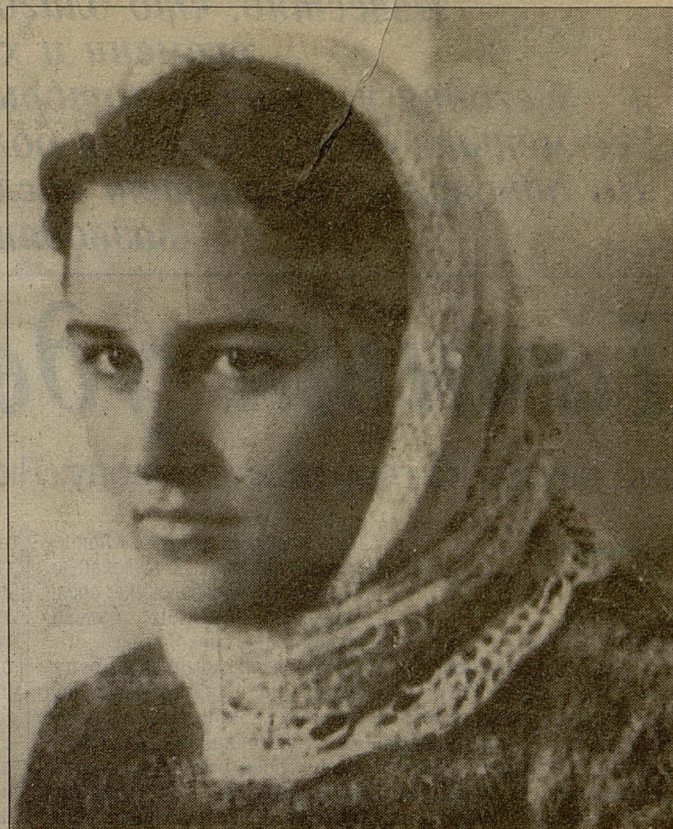
Она разрешила, а я нет. Пока ребенок дышит кожей матери, можно направить его, куда твоей душевненьке угодно. Я это не принимала во внимание. В селе упрощенная схема жизни: не работать — срам. Вот дом твой, вот работающие с детства люди, игры на поляне, тут тебе песни, сказки, привозное кино и парное молоко на ночь. Десятый класс я заканчивала в городе Ейске. Мама не ленилась проследить, с кем я пришла после танцев и во сколько. Могла и опозорить. «Ах ты, чертова сволочь — по химии двойка, а ты тут с морячками хаханьки справляешь!» Только стук начищенных ботинок по камням мостовой остается от новоявленного кавалера... А жернова большого города сильнее человека. По Москве и ходить нужно по-другому. Тут сам по себе не заладится человек.

Помню, горели леса Подмосковья. Долго горели. «Это туман или дым?» — с испугом выходили москвичи на балконы. «Дым, дым!» Какие только сообщения не витали по радио и в устных рассказах. Тушили пожар все, кто мог. Торф предательски тлел под толщей земли. Однажды полный солдат грузовик заехал на поляну и тут же, окруженный дымом и огнем, стал оседать в тартарары. Крики солдат, взмахи рук! Тщетно... Грузовик все погружается в крошечный жар. Спасатели, пожарные мечутся, солдатики кто окаменел, кто волосы на себе рвет, по земле катается. Кричат в агонии, помощи просят, спасатели им в глаза смотрят... А помочь не могут. Ни достать, ни кинуть что-нибудь. Ничего сделать нельзя. Я осталась на другом берегу. Не катаюсь по земле...

Я крепко ухватила за кровать, на которой лежит мой сын. Он скрипит зубами, стонет, мучается. «Чем тебе помочь, детка моя?» Хочется приглубить его, взять на руки, походить по комнате, как тогда, когда он маленьким болел. Теперь на руки не возьмешь. Большой — на всю длину кровати. Хочется погладить, приласкать, но взрослого сына погладить и приласкать непросто. Помощи не просит...

— Мам, похорони меня в Павловском Посаде. — Ой, что ты... Что ты говоришь? — Потерпи. Я чмокнула его волосатую ногу возле щиколотки, горько заплакала.

— Потерплю, потерплю, потерплю... Бывают же промежутки.



Первые шаги во ВГИКе

— Больше не будет, мама. Выхода нет... Ты моя, я твой...

К рассвету он примолк. Я на раскладушку неподалеку смотрю: подымается одеяло от его дыхания или нет? Решила не жить. Как и зачем жить без него? Потом заорала на всю ивановскую, вызывая «скорую». Быстро приехали по знакомому уже адресу. Вставили ему в рот трубочку, она ритмично засвистела. Дышит. Теплый. Живой... Мчимся по Москве.

Когда вносили в реанимацию, я в последний раз увидела его ступни, узнала бы из тысячи... Помню, грудью кормлю его, держу его ножку и думаю: запомню — поперек ладони в аккурат вмещалась его ступня — от пальчика до пяточки... В коридоре холодно, лампочка висит где-то высоко. Темно, неудобно. У входа в реанимацию, откуда доносится свист, его свист, стоит лавка. Я иссякла. Прилегла и подложила ладонь под щеку. «Зачем мы здесь, сыночек?..» Маленьким был, соску не взял, выплюнул. Я сокрушалась, видя, что с соской дети спокойнее. Тогда выплюнул, а сейчас встали насильно. И я, не дыша, молю Бога, чтоб этот свист не смолк...

...Позвали меня давно-давно в съемочную группу фильма «Комиссар» на собеседование. По пути домой я вспомнила встречу, сценарий и изумилась фамилии режиссера — Аскольдов, забавно... «Аскольдова могила».

Может, это рок? Может быть, на съемках боев меня конь заберет... Оставила своего красивого, душевного мальчика-подростка на чужую тетку, обеспечила разными «прятниками» — и на четыре месяца в киноэкспедицию под Херсон. С картиной не ладилось: режиссеру преднамеренно не создавали условий для работы, мучили, издевались, съемку приостанавливали.

Потом его судили. Уволили из штата студии. Дело-то какое вытаски! Лошадей много снимали. Конюшня была за двадцать километров от нашего пристанища. Два конюха-алкоголика не подковывали коней. Их было много, а значит, и на пропой хватало с лихвой. Стертые копыта от беспрерывных скачек приводили в конце концов к выбравыванию. Убыток колос-

сальный. Свалили эту беду на режиссера. Владимир Басов, Роман Быков и я аккуратно ездили на суд... Додумались все же адвокаты до того, что коней подковывать режиссер не должен был. Картину, еще не озвученную, положили на двадцать лет на полку. И в картине боль, и сына вспоминать было тяжело. Не ехала я к нему. Ну что стоило вырваться на два дня... Старалась не вспоминать его, ни лица, ни пальцев, ни голоса. Бывало, едва сдерживалась, чтоб не бросить все и съездить. Как-нибудь доведу съемки до конца, а там и радость моя — сын...

Вот как раз в эти четыре месяца его и «схватили». Вернулась — он в больнице... Помчалась туда. Он был веселый и виноватый. Признался в том, что Сашка Берлога принес пиво и «колеса» (таблетки). Пылко заверил меня, что это больше не повторится. Я поверила. Хотела поверить — и поверила. Волнение не покидало меня и дома. Я незаметно смотрела на него и недоумевала, как он произнес «пиво и колеса», такие чуждые слова с пониманием дела...

Долго потом он не виделся с теми друзьями. Призвали в армию. Появилась надежда: время, режим службы, он окончательно забудет о прошлом. Вернулся из армии — и, не объяснившись с ним, я поняла — он прячет от меня вторую жизнь... «Хоть бы нечасто, хоть бы как раньше», — молила судьбу. Ходил на студию, ездил с театром по городам... Еще не дошло до окончательной апатии.

— Да, мама — все! Сам себе противен...

Снова надежда... Жены пугались его «странных» дней и уходили. Тем более — ни «мерседеса», ни «видеошника», ни светской жизни...

— Здравствуй! — эхом под сводами старинного коридора прозвучал знакомый голос.

— Здравствуй! — привстав, взглянула на поздоровавшегося. Это отец его пришел. Я закрывала лицо руками и рыдалась. Плакать на его плече не пристало: мы уже давным-давно не жили вместе. Как оказалось, ни на его плече, ни на своей подушке не выплачешься за всю оставшуюся жизнь...



Кадр из фильма «Комиссар»